

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

На горах Воробьевых,
как будто на палубе,
чуть-чуть качает,
ветер гладит прощающе по волосам,
и все птицы здесь перерождаются в чаек
лишь для тех,
кто не перерождается сам.

На горах Воробьевых
срастаются наши надежды —
те, что были,
казалось, разбиты и брошены в хлам.
Белокрыло шуршат то ли ангелы,
то ли невесты

и вот-вот упорхнут,
улетят к золотым куполам.

На горах Воробьевых
все горы как будто не горы.
Лишь один здесь орел,
да и то он двуглав.

Помогли Воробьевым горам
двух возвышенных юношей споры,
клятвой дерзкой
над мерзкой трясиной имперской подняв.

На горах Воробьевых
империей пахнет острожно.
Появились из черни цари,
царедворцам платя спецпайком.
Государством рабоче-крестьянским
безбожно
притворялась империя наша тайком.

На горах Воробьевых,
едва была правда слегка приоткрыта,
рассердившись на нас,
кукурузо-искусствовед,
царь с просветами совести,
все-таки добрый Никита
грохнул кулаком,
но позволил мне грохнуть в ответ.

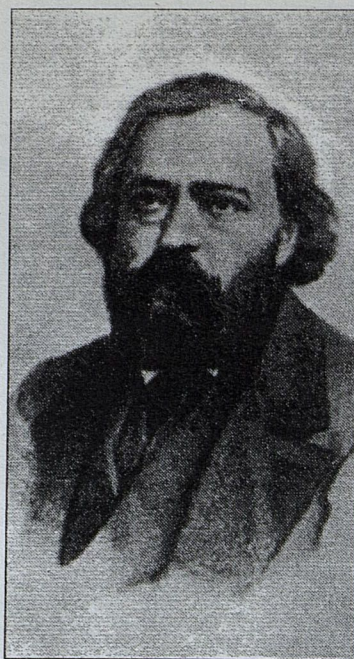
На горах Воробьевых
руками тянусь по-звонарью
к позабывшим набат,
покорившимся колоколам:
почему позволять или не позволять
тем, кто снова внушает
холопство имперское нам?

И спрошу я у гор Воробьевых:
неужто всю жизнь двухголово,
двусердечно нам жить,
словно символ имперской Руси,
и не сбудется клятва ни Герцена,
ни Огарева,
и разумной свободы не будет,
хоть локти грызи?

Двусердечность, двухглавность
родят безголовость и бессердечность.
Верю лишь в милосердие
и крохотную силу любви.

Я ваш горец свободный,
вершинами вросшие в бесконечность,
Воробьевы,
всевышние горы мои.

Евгений ЕВТУШЕНКО



Бой

с двухглавым орлом

Новая газ-200

Николай ОГАРЕВ

1813, Петербург —
1877, Гринвич, близ Лондона

1857

К подъезду! — Сильно за звонок рванул я. —
Что, дома? — Быстро я взбежал наверх.
Уже ее я не видал лет десять;
Как хороша она была тогда!
Вхожу. Но в комнате всё дышит скукой,
И плещ завял, и створы спущены.
Вот у окна, безмолвно за газетой,
Сидит какой-то толстый господин.
Мы поклонились. Это муж. Как дурен!
Широкое и глупое лицо.
В углу сидит на креслах длинных кто-то,
В подушки утонув. Смотрю — не верю!
Она — вот эта тень полуживая?
А есть еще прекрасные черты!
Она мне тихо машет: «Погодите!
Садитесь! рада я вам, старый друг!»
Рука как желтый воск, чуть вмятен голос,
Взор мутен. Сердце сжалось у меня.
«Меня теперь вы, верно, не узнали...
Да — я больна; но это всё пройдет:
Весной поеду непременно в Ниццу».
Что отвечать? Нельзя же показать,
Что слезы хлынули к глазам от сердца,
А слово так и мрет на языке.
Муж улыбнулся, что я так неловок.
Какую-то я пошлость ей сказал
И вышел. Трудно было оставаться —
Поехал. Мокрый снег мне бил в лицо,
И небо было тускло...

<1842>

Предисловие
к «Колоколу»

Россия тягостно молчала,
Как изумленное дитя,
Когда, неистово гнетя,
Одна рука ее сжимала;
Но тот, который что есть сил
Ребенка мощного давил, —
Он с тупоумием капрала
Не знал, что перед ним лежало,
И мысль его не поняла,
Какая есть в ребенке сила:
Рука ее не задушила —
Сама с натуги замерла.

В годину мрака и печали,
Как люди русские молчали,
Глас вопиющего в пустыне
Один раздался на чужбине;
Звучал на почве не родной —
Не ради прихоти пустой,
Не потому, что из боязни
Он укрывался бы от казни;
А потому, что здесь язык
К свободомыслию привык
И не касался окова
До человеческого слова.

Привета с родины далекой
Дождялся голос одинокой,
Теперь юней, сильнее он...
Звучит, раскачиваясь, звон,
И он гудеть не перестанет,
Пока — сплутнув ночные сны —
Из колыбельной тишины
Россия богдро не воспрянет
И крепко на ноги не станет,
И — непорывисто смела —
Начнет торжественно и стройно,
С сознанием доблести спокойной,
Звонить во все колокола.

1857

Вспоминая о том, как был написан рассказ «Темные аллеи», давший название целой книге «о любви, о ее „темных“ и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях». Бунин ссылается на огаревское стихотворение «Обыкновенная повесть»:

«Перечитывал стихи Огарева и остановился на известном стихотворении:

Была чудесная весна,
Они на берегу сидели,
Во цвете лет была она,
Его усы едва чернели...
Кругом шиповник алый цвел,
Стояла темных лип аллея...

Потом почему-то представилось то, чем начинается мой рассказ, — осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нем — старый военный... Остальное всё как-то само собой сложилось, выдумалось очень легко, неожиданно — как большинство моих рассказов».

Остаться в литературе не только собственными сочинениями, но и сочинениями тех, кто тебе наследует, — может ли быть судьба завиднее?

Огарев в нашей памяти неразрывно связан с Герценом. Они дружески сошлись еще в детстве, хотя сближались туго. «Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его торжественности», — отметил Герцен. Зато в поклонении декабристам и ненависти к Николаю оказались они единоклубниками, и это единение закрепило отроческую клятву на Воробьевых горах, по-видимому, сразу после казни 13 июля 1826 года главных деятелей декабристского движения.

Оба — и Огарев, и Герцен — учились в Московском университете, составляя ядро вольномыслящего студенческого кружка. Оба прошли через аресты и ссылку. Оба, хотя и с разницей в десять лет, оставили Россию и, как оказалось, навсегда. В Лондоне Огарев присоединяется к Герцену, основавшему Вольную русскую типографию и приступившему к выпуску альманаха «Полярная звезда». По инициативе Огарева они вместе начинают издавать газету «Колокол». Их союз не распался даже тогда, когда жена

Огарева, Наталья Алексеевна, после мучительных сомнений стала гражданской женой Герцена.

Герцену принадлежат самые высокие оценки поэзии Огарева. «Да, ты поэт, поэт истинный», — написал Герцен другу, когда тот больше всего нуждался в поддержке. О поэме «Юмор» Герцен отзывался так: «Вот наша Русь — родная, юная и сложенная, спустя рукава и подгулявши, — но не понуря!».

Огарев испытал сильное влияние Лермонтова. Так, стихотворение «На смерть поэта», посвященное Пушкину, и не воспринимается иначе как перепев знаменитой лермонтовской инвективы. Но гораздо важнее, что через полтора десятилетия в поэме «Зимний путь» Огарев в изображении крестьян превосходит поэмы Некрасова.

Выразительный портрет Огарева набросал писатель и журналист, один из редакторов журнала «Современник» Иван Панаев:

«Что-то необыкновенно симпатическое и задушевное было во всей его фигуре, в его медленных и тихих движениях, в его постоянно задумчивых глазах, в его тихом, едва слышном голосе, походившем более на шепот больного... Грусть никогда не покидала Огарева, даже в минуты самого шумного разгула. Старый, отживающий мир со всеми его нелепыми условиями и формами тяготил его, он не мог подчиниться ни одному из этих условий и с каким-то тайным наслаждением рвал те связи, которые прикрывали его еще к этому миру. Он отпустил часть своих крестьян на волю, остальное еще довольно значительное состояние он проживал не только с сознательной беспечностью, но даже с каким-то чувством самодовольствия».

— Чтобы сделаться вполне человеком, — говорил он нам своим симпатическим шепотом, попивая, впрочем, шампанское, — я чувствую, что мне необходимо сделаться пролетарием.

И это была не фраза. Он говорил искренно, и на его грустных глазах дрожали слезы...

Огарев беспрестанно путался, спотыкался в жизни, предавался, как блудный сын, всем крайностям разгула, но, как блудный сын, он и в падении не утратил чистоты души своей и не изменил своим благородным убеждениям. Ни капли фразерства и лицемерства не было ни в его жизни, ни в его стихах.

Искренность и задушевность — их главные достоинства. Их можно, пожалуй, упрекнуть в монотонности, вялости, иногда в бессильной грусти, похожей на старческое хныканье, но уж никак не в искусственности и не во фразе...

Последние двадцать лет Огарев прожил с Мэри Сатерленд, которую подобрал на лондонском «дне». Ни Герцен, ни Тучкова-Огарева не смогли принять этот его выбор. Время от времени между Огаревым и Герценом возникали и принципиальные идеологические разногласия. В противовес Герцену Огарев ратовал за тотальное разрушение существующих государственных

институтов, обольщался молодой эмиграцией, рвался поддержать профессионального искателя С.Г. Нечаева, который позже послужил Достоевскому прототипом Петруши Верховенского в «Бесах».

Со смертью Герцена завершилась общественно-политическая карьера Огарева. Он переживает друга на семь с половиной лет и умирает в Гринвиче, близ Лондона, на руках дочери Герцена, Натальи Александровны.

Незадолго до смерти Огарев оставил последнюю запись в дневнике: «Сейчас видел во сне, что я вернулся в Россию и приехал домой к себе в деревню». Спустя почти девяносто лет, в начале 1966 года, когда гринвичское кладбище начали сносить, прах Огарева был перевезен в Москву, выставлен для прощания в Московском университете, а 2 марта захоронен на Новодевичьем кладбище, неподалеку от Воробьевых гор.

Для Огарева, разумеется, было непредставимо, что через век с лишним после его совместной с

Герценом клятвы там же, на Воробьевых горах, в правительственной резиденции, руководитель партии и государства будет вполне искренне, но — увы! — безграмотно поучать живописцев и поэтов, какие они должны создавать картины и стихи, наверняка так и не прочитав предупреждающие строки из сборника «Голоса из России», издававшегося Герценом и Огаревым: «Всё, что есть в государстве людей мыслящих и просвещенных, убедилось, что между ними и правительством нет ничего общего». Кстати, там же есть прелестное стихотворение «Двуглавый орел», которое было бы полезно почитать всем, кто так мучится имперской ностальгией: «Я нашел, друзья, нашел. Кто виновник бестолковый Наших бедствий, наших зол. Вина во всем гербовый, Двужычный, двуглавый Всероссийский наш орел».